

Тамара ПЕТКЕВИЧ

Жизнь —
сапожок непарный

Книга первая



Колibri

МОСКВА

От автора

Мысль написать о пережитом помнится неизвестно откуда взявшимся импульсом во время этапа, которым нас вели ночью из одного среднеазиатского лагеря в другой. Моя первая книга открывалась кратким обращением к читателю:

«Эта книга могла возникнуть только потому, что во мне жила неотменимая потребность вернуть в жизнь хотя бы некоторые имена, обстоятельства прежних лет и судьбы ушедших людей. Эти люди мучились, страдали и погибли, не реализовав своих богатейших возможностей. Их мужество и человечность, их дружба сформировали и спасли меня. Спасли тогда, когда спасение казалось невозможным. Моя благодарность им предела не имеет.

Если эта повесть затронет души тех, кто найдёт в себе желание пройти вместе с нами по этапам отчаяния и надежд, я буду полностью вознаграждена».

Первая книга охватывала 1920–1952 годы (жизнь семьи, учёба, арест отца в 1937 году, мой арест в 1943-м, когда мне было двадцать два года, следствие, суд, осуждение на семь лет лишения свободы по статье 58–10, часть 2, годы неволи, освобождение).

Мне было сорок с лишним лет, когда я села писать о прошлом. Под названием «Жизнь — сапожок непарный», подсказанным строкой Марины Цветаевой, книга была издана в Санкт-Петербурге в 1993 году издательством «Астра-Люкс» и в 2004 году переиздана московским издательством «Вагриус».

Не желая вписываться в идеологию системы, покалечившей жизни стольких друзей и людей вообще, я хотела одного — прожить отпущенный мне срок согласно исконным человеческим законам и собственному разумению. Вопросы адресовала отнюдь не власти и не общественной жизни, а напрямую — Жизни. Её суровые законы не предусматривали места для вырванных или выпавших из неё. В переводе на бытовой язык жизнь будто говорила: «Ну, существуй возле, как сумеешь. Сама изыскивай занятие и смысл».

В 1956 году я была реабилитирована «за отсутствием состава преступления». В 1959-м вернулась в Ленинград. Я никак не предполагала, что ещё через сорок лет на фоне меняющейся Истории, когда мне будет уже восемьдесят, я снова возьмусь за перо, чтобы *дорассказать* жизнь. К этому толкала отчаянная, сводящая с ума потребность отыскать хоть какую-то логику в «великом эксперименте», понять, во имя чего были отняты и сломаны жизни у такого множества людей. Не уложив этого в голову и в сердце, трудно было существовать и в житейском, и в космогоническом пространстве.

У Давида Самойлова есть персонаж, место обитания которого означено им чутко и достоверно:

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую,
Он запечатлевает век.

А сам живёт на фоне звёзд,
На фоне снега и дождей,
На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!..

Я решила воспользоваться этим поэтическим образом в названии второй части моих воспоминаний. Для множества людей двадцатого века, переживших раскулачивание, репрессии, бедствия Отечественной войны, первую и вторую эмиграцию, — это и адрес, и точка обзора.

В 2008 году в петербургском издательстве «Балтийские сезоны» воспоминания вышли под названием «На фоне звёзд и стра-

ха». Вторая книга является продолжением первой, «Жизнь — сапожок непарный».

Рукопись «Сапожка» пролежала без движения двадцать лет, с 1973 по 1993 год, а книгу «На фоне звёзд и страха» я начала писать только в 2000 году. Временной разрыв между ними — огромный. Именно поэтому сейчас явилась идея что-то дополнить, связать основные события между собой, расположить их — насколько возможно — в хронологической последовательности и тем самым представить в двухтомнике более полную картину времени.

Немало трудностей добавила мне путаница в документах. В трудовой книжке, выданной мне до ареста, и в справках об освобождении и реабилитации моё отчество указано правильно — Владиславовна. Однако в паспорте, который я получила в 1950 году, по небрежности ЗАГСа появилось неверное отчество — Владимировна. Так я стала — и по сей день пребываю — и Владиславовной, и Владимировной. Прошу не винить за это разночтение моих издателей.

Приношу свою глубокую благодарность за помощь в подготовке двухтомника Наталье Владимировне Клименченко и Ирине Бенедиктовне Комаровой.

Тамара Петкевич

Глава первая

...И никакого розового детства...

Анна Ахматова

Начало двадцатых. Петроград. Вокруг многое доламывалось. Многое только начинало быть. Революция, Гражданская война — всё, что произошло с устоями общества и убеждениями людей, — всё это пришлось на пору молодости моих родителей.

Отец и мать встретились на фронте во время Гражданской войны. Мать — Ефросинья Фёдоровна Мочаловская, русская, тогда только-только окончила гимназию. Как и многие её сверстницы, уверовав в революцию, ушла на фронт, где её определили машинисткой при штабе дивизии, комиссаром которой был мой отец.

Отец — Владислав Иосифович, поляк, родился в Риге. Незадолго до Первой мировой войны подошёл возраст призыва, его взяли в армию. Там, по-видимому, и сформировались его взгляды. Во всяком случае, его приход в революцию был шагом вполне обдуманным. В 1918 году отец стал членом РКП(б).

На его фотографии, подаренной маме и помеченной февралём 1919 года, написано: «...вспоминай Вилейку, Мозырь, Гомель, Бобруйск...» Очевидно, это пункты перемещения их дивизии. Как они потом попали в плен к Петлюре, не знаю. Нелюбопытная юность уточнить эти обстоятельства не удосужилась. Запомнила только, что оба были приговорены к расстрелу, но весной, «в валенках», бежали из плена. Знаю также, что на фронте отец был тяжело контужен.

Я родилась в 1920-м. В том же году родители переехали в Петроград и поселились в довольно занятом доме.

На Петроградской стороне архитектор Р. Габе построил в 1911–1912 годах для некоего К. Чубакова доходный дом. Квартиры были дорогие. Снимала их публика состоятельная: крупные инженеры, врачи, чиновники. В 1918–1920 годах многие из них бежали за границу. Бежали, видимо, поспешно, успев захватить лишь драгоценности, одежду. Мебель, посуда, утварь остались. Старой закалки дворники запирали эти квартиры. Держали всё в целости и сохранности на случай, если хозяева вернутся.

Создавая в те годы кооперативные товарищества, советская власть дома обобществила. Став членом кооператива, мой отец занял квартиру в доме на набережной реки Карповки, 30. Стилизованный под Восток дом имел башню; лепные орлы, химеры и возлежащие на постаментах у подъезда львы должны были, по всей видимости, охранять его от злых сил.

Квартира была с балконами. Казалось, они покоились на сильных, мускулистых руках трёх атлантов, которые глядели на прохожих пустыми известковыми очами. При артиллерийских обстрелах города в 1942 году атланты рухнули, балконы же уцелели.

Транспорта в этом уголке города не было никакого. Глядя в окно, за час можно было насчитать пять, от силы девять прохожих. Вода в речке Карповке стояла мутная и сонная. Вдоль берегов тянулись покосившиеся деревянные перила. Береговые откосы, поросшие лопухами громадных размеров, одуванчиками, белой и красной кашкой, были замусорены битыми стеклами и кирпичом. Правда, спустившись по берегу вниз, сачком можно было ловить замечательной красоты стрекоз и бабочек. Напротив дома, на другом берегу Карповки, возле монастыря, обращаясь к замурованным там мощам Иоанна Кронштадтского, молились, стоя на коленях, верующие, куда-то спешили монашки.

На Каменноостровском проспекте, пересекавшем Карповку, самое людное место было у пивной, в витрине которой в небольшой тарелочке лежали муляжные красные раки, обложенные зелёным горошком. С клубами тёплого воздуха в стужу оттуда

выскакивали пошатывавшиеся мужчины. Едва начинало смеркаться, на тротуаре напротив питейного заведения располагался старик-скрипач, наигрывавший одну и ту же мелодию. Мелодия была печальна. Старик — беден и стар. Мама давала монетку, я бросала её на облезлую бархатную подкладку футляра и, уходя, оборачивалась, чтобы посмотреть, кинет ли кто-нибудь ещё.

Грудой камней лежал бывший скейтинг-ринк, где раньше, как объяснила мама, нарядные люди катались на роликах. (Ныне на этом месте Дворец культуры имени Ленсовета.)

Наводнение 1924 года усугубило разор. Мы возвращались с дачи. Стоя коленками на сиденье трамвая, я смотрела на вывороченные шашки торцовой мостовой.

— Это ремонт? — спросила я маму.

— Нет, детка, наводнение. Здесь всё было затоплено водой, и деревянные торцы всплыли.

На фасаде нашего дома появилась белая черта с надписью: «Уровень воды при наводнении 1924 года». Вместе с другими девочками я «примерялась». Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья-реликвия: на ней папа приплыл домой.

В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромная — из шести комнат. Круглый зал с нишами, столовая, папин кабинет, гостиная, детская... При кухне ещё комната — седьмая, для прислуги. Меня, вероятно, нередко оставляли дома одну, потому что помню, как в загустевшей тишине я бродила из комнаты в комнату.

Папин кабинет был самым таинственным. С резных дубовых спинок и подлокотников кресел, с ящичков письменного стола смотрели морды деревянных львов с раскрытой пастью. Я с опаской совала туда палец. Нет, не кусались. Стены полупустого зала украшали два зеркала в замысловатой бронзовой оправе в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиком пальца по их ободкам, хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был в столовой серебряный звоночек. Он висел над столом чуть

ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Во время обеда этим звоночком оповещали прислугу: можно подавать второе, третье... Звоночек не был лишним, потому что прислуга у нас тоже была. Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас? Мои родители этого не знали. Что было в квартире наше, что нет, осталось неизвестным... В просторных апартаментах мы жили четвером: мама, папа, наша домработница и я.

У красивой и женственной мамы был мягкий характер. Она не работала. На её попечении находились весь дом и я. Отец — натура сильная и страстная — был поглощён идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало.

В воскресные дни к нам приходили гости, преимущественно фронтовые друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили завоёванное им на фронте уважение. К нему и в последующие годы чаще обращались не по имени и отчеству, а: «Комиссар, объясни. Как полагаешь, комиссар?» Гости рассаживались в папином кабинете, вспоминали былое, спорили, курили.

С особым вниманием я слушала один папин рассказ: едва они однажды с бойцами расположились на привал, разожгли костёр и сварили кашу, откуда-то появилась оборванная девочка лет десяти. Заворожённо глядя, как бойцы управляют с едой, она стала быстро и упрямо повторять не сразу понятное: «Я б ни йила б, я б ни йила б!» (Не ела бы — то есть). И когда ей наконец протянули миску с кашей, мигом заглотнула её.

Из разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей скоро совсем не будет, все будут жить одинаково хорошо; дома будут строиться по-новому: привезут много земли, на крышах домов посадят цветы и деревья, соорудят бассейны. Хозяйкам не нужно будет готовить обеды — за них это сделают фабрики-кухни. Но самым замечательным из всего должны будут стать детские сады... В кадках — пышные растения, везде зелень и ещё аквариумы, в которых будут плавать диковинные рыбки... Дети сыты

и одеты. Родители за них спокойны, свободны и потому после работы каждый вечер ходят в кино. Кино, разумеется, бесплатное.

Наша квартира одно время превратилась просто-таки в «показательную».

— Приехали немецкие коммунисты. Завтра придут к нам, — говорил маме отец.

Или:

— Приехала болгарская делегация. Будут у нас... В воскресенье надо принять испанских товарищей...

И они приходили с переводчиком. Хорошо одетые, степенные люди осматривали квартиру, задавали вопросы.

Для первых лет советской власти наша жизнь, вероятно, выглядела сообразной, более чем представительной. Меня эта сторона дела никак, понятно, не занимала. Моё внимание целиком было поглощено внутрисемейными раздорами, о которых никто из окружающих, кажется, не подозревал. Родители ссорились между собой. Ссорились без крика, правда не без повышенных тонов. Затяжные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. Примостившись на корточках за узорчатыми чугунными креплениями балконов, я следила за родителями, пока они прохаживались вдоль Карповки, одержимая единственным желанием: чтобы они помирились.

Не исключено, что, помимо сугубо личных, терзавших моих родителей проблем, одной из причин разногласий был и вопрос моего воспитания. Я не раз слышала неуступчивое папино «нет!». В рождественские дни, скажем, дворник приносил ёлку. Мама принималась её наряжать. Застав её за этим занятием, папа чеканил:

— Я, как коммунист, не могу разрешить, чтобы в доме была ёлка!

— Но ребёнку это нужно, — возражала мама.

— Пусть растёт без ёлочек и свечечек!

В столовой продолжала стоять никому уже не нужная ёлка. Вместе с ней в душе поселялось чувство страха перед отцом.

Что-то похожее возникло и по приезде одной из бабушек. Мать отца, бабушка Урсула, жила в Риге, по тогдашним поня-

тиям — за границей. Мамина же мать умерла при родах. Воспитавшую её тетю мама называла мамой, а я бабушкой Дарьей.

Именно с приездом бабушки Дарьи в мою жизнь вошли тепло, прибаутки, говор с милой белорусской прибавкой «ти»: «Ти пойдёшь ты, ти нет?» С жадностью я впитывала бабушкины сказки про соперничество старого принца Алмаза и юного принца Колокольчика, про кисельные берега и молочные реки, про Золушку, и непритязательным этим сказкам в известном смысле суждено было сыграть спасительную роль.

Бабушка Дарья быстро научила меня играть «в дурачка» и так же быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал.

— Не смей водить ребёнка в церковь! — разъярился папа.

Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора:

— Без Бога-то нельзя. Ходить всё равно будем, да только потихонечку.

«Потихонечку» — усекли. Бабушка уехала. А я начинала понимать, что означают слова: «У папы трудный характер». «Стоило мне где-нибудь задержаться на станции, — рассказывала мама своей подруге об их военном прошлом, — как он, никому не разрешая меня позвать, отправлял эшелон. Сломая голову догоняла состав. Получала нагоняй, да ещё какой! От придирок и замечаний не было спасения...» Мама признавалась своей приятельнице, как отчаянно боялась крутого комиссара и как была обескуражена, когда он внезапно объяснился ей в любви.

Разделяя мамину боязнь и остро ей сопереживая, я в то же время чувствовала себя заинтригованной трудным характером папы. «Ему самому, наверно, трудно», — рассуждала я, исподтишка наблюдая за ним. И бурно радовалась, когда в нашем доме случались сюрпризные воскресенья. Утром из кухни доносился вкусный запах. Сам папа пёк булочки. Они получались пышные и ароматные. Папа преображался, становился неузнаваемым. Поддразнивал меня, шутил с мамой. Мама в такие дни сияла. И я страстно хотела, чтобы так было всегда.

Когда из Риги приехала бабушка Урсула, папа-сын, бережно и любовно ухаживавший за своей матерью, тоже мне очень понравился. Навестившая нас «заграничная» бабушка только теперь

познакомилась с мамой. Восхищалась ею. В белоснежной с вышивкой блузке, плиссированной юбке мама была очень хороша. Знакомые её называли Венерой Милосской. Они с папой были красивой парой. Папа тогда носил темно-синюю толстовку с бантом. Вместе с благообразной бабушкой, по настоянию отца, всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография В. И. Германа.

В Риге оставались сёстры отца и младший брат. Я с удовольствием повторяла их имена вслух: Иогася, Леокадия, Виктория, Исидор. Там же жила моя кузина Бенита. Позже родились ещё две двоюродные сестры — Вероника и Бригита. Папа переписывался со своей польской семьёй.

Если я чувствовала, что папа любит приехавшую бабушку и маму — несмотря на то, что часто с ней ссорится, — то понять, как он относится ко мне, было не под силу. Мечтая о детском благоденствии, о великолепии детских садов будущего, мои родители весьма своеобразно занимались мною. Хорошо одевали. Помню красивые банты для волос, белое с голубыми розами платье, подаренное ко дню рождения. Чтобы я была под надзором, однажды в доме появилась даже бонна. Ярче, чем она сама, запомнилась мебель, с которой она водворилась в детской: софа, туалетный столик, ширма, обитая кремовым штофом, на котором были вытканы экзотические цветы и попугаи.

Бонна, правда, не задержалась. Её сменила очередная домработница, а в общем я была полностью предоставлена самой себе. Мало что понимая про окружающее, совсем ничего — про себя, я познавала мир самостоятельно, дичком. Чувствуя себя отстранённой от непонятно раскалённой жизни родителей, я даже не всегда решалась что-то у них переспросить.

— Принеси несколько газет! — кричала мама из другой комнаты.

— Сколько — «несколько»? — спрашивала я.

Мама сердилась:

— Упрямая девчонка!

Я знала: один, два, десять. Так и не поняв, сколько это «несколько», тащила маме все газеты, какие были.

Папа рассказывал: «Стою в трамвае на площадке...»

«Но ведь площадка — это место за домом, где играют дети. При чём же здесь трамвай?» — недоумевала я. Вопросы, однако, не задавала.

— Кто потерял двадцать копеек? — громко спросила я, откопав однажды во дворе из-под снега двугривенный.

— Я! Мои! — бросилась дочка дворничихи Грипа.

— На.

— Вот дура какая, — огорчилась наша домработница.

«Почему дура? — силилась я понять. — А-а, значит, Грипа сказала неправду».

Самым неумолимым было другое.

Добросовестно пытаюсь вспомнить, за что меня наказывали, — и не могу. Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом. Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире? На улице разбивала коленки? Было! Не слушалась? Возможно. Какие-то поводы наверняка были. В спальне родителей на спинке их никелированной кровати висела кожаная, заплетённая в косу плётка. Плётка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала её, она была совсем не страшная. Но когда папа ею хлестал меня... О-о! Отец брал её в руки и принимался меня бичевать как-то всегда неожиданно. Делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распалили его.

— Папочка, миленький... не надо... папочка, миленький, я больше не буду! — кричала я, извиваясь в тисках его рук и ног. — Папочка, не бей меня, не бей меня, пожалуйста!..

Но «папочка» упрямо продолжал меня полосовать. Я начинала сама слышать, как визжу, до побеления закатываясь в плаче. Крик и визг будто отделялись от меня и повисали где-то рядом. А отец стегал и стегал по плечам, по спине и ниже, по ногам. От порки к порке я училась больше терпеть, меньше кричать и без прежней готовности просила прощения. И впрямь становилась «упрямой девчонкой», хотя по-прежнему слепо боялась отца.

Если я после очередной экзекуции не выпрашивала прощения, меня ставили ещё и в угол. Вечер переходил в ночь, родители ложились спать, гасили свет. Сухо и пусто было в душе, слёзы

и всхлипы глохли, умолкали уличные звуки. Говорить «папочка, прости» — не хочу. Мир плохой и жестокий. Воображение раздваивалось. Темноту в углу у шкафа начинало заливать сверкание. Всплывал в сиянии серебра замок принца Алмаза из сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись взаправдашние мыши, били двенадцать настоящие часы... и Золушка, сбегая с бала, теряла свой хрустальный башмачок...

Мама не выдерживала, вскакивала с постели:

— Иди, детка, попроси у папы прощения — и пойдёшь спать.

Буднично и тускло я всё же говорила: «Папочка, прости», меня отпускали, и я проваливалась в сон. Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многоугольной буквы «Ж», переплетённой с «Ф». Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то опадал, будто у него внутри были лёгкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я силилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смутении. Кто знает, может, так являлся мне знак Судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать.

Были и бессонные ночные часы. Иногда мне снилось, что мама умерла. Я в страхе вскакивала, на цыпочках подбегала к спальне родителей послушать, дышит ли мама, но после этого долго не могла уснуть. На улице под окном раскачивался фонарь. То треснет паркет, то скрипнет вдруг дверца шкафа... С пустырей доносились пугающие звуки ноющего и лязгавшего на ветру железа, заржавевших и полуоторванных дверей погребов и складов... Нет, я не боялась, но мне было одиноко, и ночью острее, чем днём, я чувствовала, что никому не нужна.

Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Данскера: отец — врач, мать — биолог и двое детей, мои ровесники, — Лёля и Вова. Иногда брат и сестра приходили играть ко мне. Им нравился наш аристон, отличавшийся от граммофона тем, что пластинки были из прочного лакированного картона. Чаще же отпрашивалась я:

— Мамочка, можно я пойду к Вове и Лёле?

— Не больше чем на час, — отвечала мама.

В квартире Данскеров было мало мебели. До блеска натёрт паркет, весь день открыты форточки. На письменном столе их мамы стоял микроскоп. Но меня более всего манила к себе трапедия. Она висела в дверном проёме между двумя комнатами. Поочерёдно мы учились подтягиваться на руках, что было довольно трудно. Я часто падала, но, преодолевая боль, не сдавалась, чтобы не отстать от Вовы.

У меня был повышенный интерес ко всему, что происходило в этом доме. Когда родители Вовы и Лёли приходили с работы и все усаживались ужинать, отец спрашивал: «Ну-у, рассказывайте, как у вас прошёл день». Связывая в цепочку значительные и малые события дня, дети отвечали. Я вся обращалась в слух, с удивлением отмечая, что взрослым интересно всё детское.

— Тётя Мария, за что меня отец не любил? — отважилась я спросить свою родственницу, будучи уже взрослым и много пережившим человеком.

— Как это не любил? — поражённо уставилась она на меня. — Отец очень даже любил тебя.

Тогда за что порол? Ему больше нравилась та гордая девочка, которая повторяла: «Я б ни йила б» вместо «Есть хочу»? Так я себе это объясняла. Я с детства слышала от друзей родителей: «Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет!» Чувствовала и сама: папа вовсе не был злым человеком. И вряд ли разгадка того, почему он без пощады бил несмышлёную ещё девчонку, кроется в чём-то однозначном. Скорее всего, это были издержки фронтовой контузии. А может, таким образом избывалась скопившаяся за годы Гражданской войны жестокость. Никто мне этого сейчас уже не объяснит, а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном: для родителей я была *несвоевременным* ребёнком.

У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта. Само это слово вселяло в меня ужас. Как вкопанная я останавливалась, когда из дома напротив выводили парами детей, одетых в серое. Нестёганные серые сатиновые ватники вместо пальто, серые суконные шапки. Смирным строем шли

они в баню или на прогулку. Осенью возвращались из леса с одиноким листиком клёна, зимой — с словыми ветками в руках. Про приютских детей говорили: сироты. Предела мой страх достиг тогда, когда однажды меня наказала мама.

Чтобы вынуть чашку из буфета, надо придвинуть стул, забраться на него и только тогда достать её из верхней половины. Но гораздо быстрее пойдёт дело, если встать одной ногой на ключ, который торчит в нижней дверце буфета, — тогда можно дотянуться до чашки мигом. Так я всё и осуществляю. Ключ подомной ломается, я лечу на пол, чашка разбивается вдребезги. Мама входит в комнату, всё это видит и...

— Ты что безобразничаешь? — кричит она. — Сейчас же вон из дома! Одевайся — и марш в приют!

Я не смею верить тому, что слышу.

— Вон, в приют! — не унимается мама, подводит к буфету, отрезает краюшку хлеба и протягивает мне. — Это тебе на первый случай. Одевайся и уходи к приютским! — Рука её властно указывает на дверь.

Меня начинает сотрясать дрожь. Я уже не плачу, я, кажется, вою. Разумеется, никто меня никуда не выгнал. Но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее меня затем не один десяток лет, берёт начало где-то здесь. Я, шестилетняя, не умела тогда понять, где кончается мама и начинается женщина со своими горестями и несчастьями, которых у неё было предостаточно.

Добрым событием детской жизни стало мамино решение отдать меня в «группу» к француженке. «Француженкой» была русская, Екатерина Ивановна, — жена царского генерала Баланина, перешедшего во время Гражданской войны на сторону советской власти. Одна из комнат их квартиры, в которую меня допускали, особенно живо запечатлелась в памяти. Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с эполетами. Солнышко скользило по овальным и круглым полированным рамам, ютилось в мяготи кресел. Было заповедно тихо. Молчаливый старик с пышными усами — сам генерал Баланин, — сидя в одном из зачехлённых кресел, читал.

Екатерина Ивановна, седая, с высокой причёской, одетая в шерстяную бордовую кофту и длинную чёрную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, десять-одиннадцать детей, учились писать, считать, оклеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, так называемой раффи, изготавливать шкатулки и коробочки. Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом восстала школа (за реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению).

В рождественские дни ёлка здесь устраивалась обязательно. Собирались и дети, и родители. В инсценировке басни Крылова «Мышь и Крыса» я сыграла свою первую роль. Никто не мог понять, отчего, разучив текст Мыши, я не захотела надевать сшитый для этого персонажа серый балахон. Сама же я не решалась признаться, что он напоминает мне приютский ватник и поэтому так страшен. Здесь же я получила прозвище «любимчик». Я — «любимчик» Екатерины Ивановны. Её старческая рука гладит меня по голове, в живых глазах теплота. Я плачу ей пылкой привязанностью, преданностью и успехами.

«Группа», однако, просуществовала недолго. Конец её связан с ничем для меня не значившими тогда словами: «их сослали». Они есть, но как-то не здесь, а далеко. А как же та стена с красивыми фотографиями? Как всё будет без Екатерины Ивановны?

На летние месяцы мы с мамой выезжали в Белоруссию. И было одно причудливое лето, когда мы вдвоём оказались в покинутом и разорённом, оставленном людьми, но не Богом имении Пучково. Если то был произвол маминого желания — будь оно благословенно! Во веки веков!

Мне и поныне кажется, что у моего существования два начала. И подлинное, сокровенное берёт начало в том радостном лете. Хорошо запомнила, как мы ехали туда, в то имение, сначала лесом, затем через поля. Потом пространство стало организовываться стеной высаженных деревьев, перешедших в аллею с хорошо утоптанной ровной дорогой. За поворотом справа — сад, слева — каменный белый дом, соединённый жасминовыми и си-